

Глава 3

Панин Хутор

Продолжение, начало № 1, 2021

Было в Панине много милого, радостного сердцу мальчи-ка, но на каждом шагу Лесков сталкивался и с тяжелыми, мрачными явлениями. Пьянство и сопутствующие ему мерзости, бытовые зверства, болезни и смерти детей, увы, являлись повседневностью русского крестьянства. Деревенские обитатели далеко не сплошь состояли из симпатичных дедушек и добрых теток с пирожками — не зря Лесков устами рассказчика-архиерея утверждал в повести «На краю света», что «христианство на Руси еще и не проповедано». Будничная трагичность «жития одной бабы» вмещает многие страшные реалии российской деревни: «Маленький мужичонко был рюминский Костик, а злющий такой, что упаси Господи! В семье у них была мать Мавра Петровна, Костик этот самый, два его младшие брата,

Петр и Егор, да сестра Настя. Петровна уж была-таки древняя старуха, да и удушье ее все мучило, а Петька с Егоркой были молодые ребятки и находились в ученье, один по башмачному мастерству, а другой в столярах. Оба были ребятки вострые и учились как следует. Дома оставалась только сама Петровна с Настей да с Костиком. Все они в ту пору были еще крепостными и жили в господском дворе. Панок их был у нас на Гостомле из самых drobных; всего восемнадцать душ за ним со всей мелкотой считалось, и все его крестьяне жили тут же в его дворе на месячине, — земли своей не имели. Житье было известно какое — со всячинкой; но больше всего донимала рюминских крестьян теснота. Пускай правда, что мужик не привык к кабинетам — все у него в одной избе, да по крайности там уже все своя семья, а тут на рюминском дворе всего две избы стояли, и в одной из них жило две семьи, а в другой три. Теснота, ссоры промеж себя, ябеда с сердцов друг на друга, сквернословие, — такое безобразие шло, что не приведи Бог! Дети тут так и росли в этой срамоте, и Костик тут вырос, глядячи, как покойный отец сухотил весь век свою жену, пока не вогнал ее в удушье. А Мавра Петровна отличная была женщина. Она была взята из однодворок и пошла в крепость с нужды горькой, потому что у нас в округе иные вольные в ту пору еще хуже крепостных живали: бедность страшная». Жестким реалистичным описанием дореволюционной деревенской чернухи Лесков невольно угодил даже большевикам: «Николай Семенович Лесков — уроженец одной из наиболее темных губерний Московской области, он — орловец. На родине его и до сего дня сохранились “курные” избы, печи в них без труб и топятся “по-черному”, так что весь дым валит в избу, выедавая глаза ее обитателям, покрывая стены и потолок густым слоем сажи. Эти первобытные логовища очень дороги орловскому народу, — Лесков в рассказе “Загон” интересно описал, до чего крепко привыкли мужики к своей “курной” избе». Поразительно, с какой пролетарско-литераторской ловкостью Горький, настоящий профи пропаганды, в своей статье о Лескове передергивает, искажает смысл «Загона»: в горьковской подаче Лесков и сам предстает перед нами практически «поклонником лоснящейся сажи», убеждающим читателей, что «первобытные логовища очень дороги орловскому народу»!

Сажа и прочее кажутся пустяками по сравнению с масштабной бедой — голодом. Каждый год мог стать «голодным», и тогда социально никак не защищенного крестьянина и его близких ждала мучительная смерть. Лесков еще ребенком пережил в Панине «страшный по своим ужасам» голодный 1840 год: «(...) я кое-что помню, — по крайней мере по отношению к той местности, где была деревенька моих родителей — в Орловском уезде Орловской же губернии. Значительно более того, что я помню из тогдашнего времени, как непосредственный свидетель событий, я слышал многое после от старших, которые долго не забывали ту голодовку и часто обращались к этому ужасному времени со своими воспоминаниями в рассказах по тому или другому подходившему случаю. Разумеется, все эти нынешние мои воспоминания схватывают один небольшой район нашей ближайшей местности (Орловский, Мценский и Малоархангельский уезды)».

Позже Лескову пришлось быть свидетелем еще двух «больших голодов». Один — в деревне Труфаново Мценского уезда, входившей в приход Георгиевской церкви села Цветынь, но об этом Николай Семенович почему-то вспоминать не любил, а собственно о Цветыни, где разворачивались жуткие трагедии в период голодной зимы, упомянул в совсем другом аспекте: в Цветыни, около «знаменитого Батавинского спуска», он поселил своего многострадального дьячка Лукьяна из «Мелочей архиерейской жизни»; другой — смертельный голод 1891–1892 годов. Он случился, по мнению Николая Семеновича, «из-за плохого хозяйствования и неурожая предыдущего лета». Лесков, лично участвовавший в борьбе с голодом, много читал тогда в прессе о страданиях крестьян, которые «вопиали к небу», сравнивая их с теми, которые сам наблюдал и о которых слышал в детстве. Он сделал вывод, что «впечатления, какие эти описания производят, очень слабы в сравнении с теми, что сохраняет в несвязных отрывках память о прошлых голодовках, когда не было никакой гласности и никакой общественной помощи людям, “избывавшим от глада”». Вспоминая, Лесков чуть ли не оправдывается: впечатления его, мол, «отражаются в моей памяти только в той форме, в какой они могли быть

доступны “барчуку”, жившему под родительским крылом, в защищенном от бедствия господском доме», и потому они неполны, бессвязны, отрывочны и поверхностны, но все же он считает нужным довести до сознания читателей сию горестную рапсодию: «Они (детские воспоминания Лескова — Н. Л.) отнюдь не могут представить многостороннюю картину народного бедствия, но в них все-таки, может быть, найдется нечто пригодное к тому, чтобы представить хоть кое-что из тех обстоятельств, какими сопровождалась ужасная зима в глухой, бесхлебной деревеньке сороковых годов. Словом, я решился набросать на бумагу то, что уцелело в моей памяти о давней голодовке, относящейся к той поре, о которой упомянул генерал Мальцев¹, и, приступая к этому, я вперед прошу у моих читателей снисхождения к скудости и отрывочности моего описания. Я предлагаю только то, что могу вспомнить и о чем теперь можно говорить бесстрастно и даже с отрадою, к которой дает возможность наш нынешний благополучный выход из угрожавшей нам беды. Воспоминания мои будут не столько воспоминания об общей голодовке 1840 года, сколько частные заметки о том, что случилось голодною зимою этого года в нашей деревеньке и по соседству».

Голод в «Юдоли» — явление почти апокалиптическое по неотвратимости и последствиям. Н. А. Бердяев писал: «...Русский

¹ Сотрудник одной из петербургских газет, посетив неурожайные местности России зимою 1892 года, взял интервью у известного старожила Орловской губернии, помещика, владельца знаменитого хрустального завода генерала С. И. Мальцева, и генерал, помнящий «старинные голодовки», удивлялся, «как мы далеко ушли вперед: теперь о голоде говорит вся Россия, и раньше всех на него указало само правительство». Не то было сорок-пятьдесят лет тому назад. Тогда также случались неурожай, но о них знали лишь министры да сами голодающие. «Я тогда, — говорил генерал Мальцев, — представил проект обеспечения народного продовольствия. Император Николай Павлович весьма сочувственно отнесся к проекту, и я решил напечатать его, но ни одна типография не согласилась взять мою рукопись для набора». Рукопись эту удалось напечатать только благодаря покровительству принца Ольденбургского. («Неделя», 19 апреля 1892 г.)

народ по метафизической своей природе и по своему призванию есть народ конца. Апокалипсис всегда играет большую роль в нашем народном слое и в высшем культурном слое, у русских писателей и мыслителей». И среди этих писателей Лесков не исключение. Голод предвещают различные знаки и предсказания: «Первыми предвозвестительницами горя — как это ни странно — были старухи, которые видели нехорошие сны. Это началось с половины Великого поста. Самую страшную сновидицею была наша птичница, гордая женщина из вольных однодворок, по имени Аграфена Петровна. Я помню, как отец один раз, придя к столу, за которым все мы сидели у вечернего чая, сказал матери, что сейчас, когда он распорядился работами, староста Дементий объявил ему, что мужики боятся сеять «яровые», потому что птичница Аграфена и другие старухи на деревне «прорекуют голод», и поэтому страшно, что семена в земле пропадут.

— Но ведь это глупо! — возразила мать. Отец пожал плечами и ответил:

— Да; это неразумно, но я не могу, однако, забыть, что во время большого неурожая в мое детство у нас об этом тоже заговорили еще перед весною, и притом также с бабьего голоса, а потом и в самом деле вышел неурожай».

Семен Дмитриевич обязал мужиков сеять яровые, а «сновидящим старухам» велел прекратить «прорекать о голодном годе», не то пойдут на всю весну «индеят и утят от коршунов караулить». Жену же свою, известную уже нам твердым характером, попросил построже поговорить с Аграфеной. «А как я, и брат мой, и старшая сестра были в это время уже просвещены грамотою и знали по “Ста четырем священным историям”, что пророчество есть “свыше посылаемый дар дивный и таинственный”, — повествует от имени главного героя Лесков, — то нам, разумеется, было в высшей степени любопытно знать, как этот дар спустился на нашу Аграфену и как наша мать возбранит в ней этому дару». «Гордую Аграфену» нельзя было ругать, а следовало «все гладить по головке», — иначе она грубила». Она и нагрубила приступившей к ней с пристрастием Марье Петровне: «Когда матушка спросила ее: “Какие ты видишь сны?” — Аграфена отвечала ей:

— Какие приснятся.

— А зачем же ты голод пророчишь?

— А отчего же не пророчить? Вестимо уж, что когда хлеба не будет, так голод будет.

— Да почему?.. Что тебе снится... что делается?

— Что ни снится и что ни делается, а все теперь будет к голоду, и я с детьми пропаду... уйду отселева. И слава те Господи! — отвечала Аграфена и ничего более не пояснила, а между тем слова ее тут же были поддержаны обстоятельствами». Обстоятельства были таковы: рассыпаемые по обычаю с колокольни «в народ» на Благовещенье «черные просвиры» «испортили»: сначала баба-дулеба, которая убиралась в церкви, — вымывши амвон, стала она «начисто воду спускать да раскатилась и вся до половины сквозь двери в алтарь просунулась», а потом и подвыпивший дьячок Аллилуй, который сверзился с колокольни, когда пытался почистить засиженные птицами малые колокола. Пока священник отпускал умирающему дьячку грехи на так называемой «глухой исповеди», причащал и читал отходную, тесто для просфор ушло из дежи. «В него только ноги перепачкали люди, принесшие Аллилуево тело, а просфор печь было не из чего... Весь приход остался без просфор, а это составляло случай в жизни крестьян небывалый, потому что у нас все были люди набожные и ни один крестьянин не выходил сеять без того, чтобы у него в “севалке”, то есть в круглой лубочной коробке с зернами, не было благовещенской просфоры. Теперь же первый раз приходилось сеять без просфор, а это добра не обещало».

Ну как тут не уверовать в грядущий голод! Мужики сеять не стали ни овса, ни гречи, ни проса.

— Для чего сеять, когда все пропадет, и семян не сберешь!

Некоторые господа строго наказали крестьян за упорство; мужики битье терпели, но не сеялись, а семена спрятали в картофельных ямах, овинах, подпольях изб и других схоронах. Семен Дмитриевич Лесков «людей не стегал», но настоял, чтоб крестьяне вспахали свои участки и засеяли их. Семена он им выдал заимообразно, с обязательством возратить из будущего урожая. «Но возвращать было не из чего: просфоряное тесто ушло — никакого урожая не было. Все посеянное — пропало. И как пропало!

с какою-то злою иронией или с насмешкою, “точно шут шутил”», — восклицает Николай Семенович.

Поначалу роковые пророчества вроде бы прошли стороной. Наступившая весна порадовала тучностью всходов: «Взошло все густо и сильно, включилось так, что уже на Юрьев день (23 апреля), когда скот выгнали первый раз с образами в поле, земля была укрыта сплошною рослою зеленью, — и зелень была такая ядреная, что ею не только наедались досыта тонкогубые овцы, но и коровы прибавили от себя удоя. К Вознесеньеву дню грач в темно-синих озимых зеленях прятался, и сообразно тому “князем восходил” брошенный “в грязь” овес и поднимались из земли посеянные злаки, как вдруг в то время, когда наступила пора рассаживать на грядках выращенную в рассадниках капусту, тут и там слышались жалобы, что “стало сушить”. Рассаду и другие огородины “отливали водой”, которую таскали на себе в худых ведрах бабы, а ребятишки в кувшинчиках; но “было не отлиться” — сушь “лубенила землю”, и слышалось ужасное слово:

— Сожгло!..»

Тут уж не особо усердные к молитвам при благополучной жизни селяне по присловью «пока гром не грянет, мужик не перекрестится», «ударилась к Богу». «Каждый день молебствовали и выносили образа, то на озимые хлеба, то на яровые, но засуха стояла безотменно». Священники применили «сильное средство» — «покаяние миром», наложив вето на любые удовольствия и радости: «Веревки на вислых качелях, на улице, закинули вверх, чтобы не качались; не позволяли девкам «водить танки» (танцевать, водить хороводы — *Н. Л.*) и «играть (петь) песни». «Музицировать» разрешили только пастуху Фоньке, но и его «самодельная липовая дудка, вызывая коров, издавала слишком унылые и неприятные звуки: это заметили, должно быть, и сами коровы и не шли на вызов косолапого Фоньки, потому что он уже давно их обманывал — и выгонял их на поле, на котором им нечего было взять».

Не видя быстрого результата «ударения к Богу» крестьяне кинулись в другую крайность: пошли на поклон к колдунам да знахарям, «доморощенным мастерам черной и белой магии» (Петр Сергеевич Алферьев умер незадолго до этих событий и бороться

с мракобесием, очевидно, стало некому). Ведуны «наводили» наговорами и ворожбою на лист глухой крапивы и сдували пыль на ветер, выносили «обглоданные избенными прусаками иконки в лес и там перед ними шептали, обливали их водою и оставляли ночевать на дереве, — но дождя все-таки не было». Тут Лесков вставляет впечатляющую деталь: «Даже прекратились росы». Вот это действительно страшно! Выходишь утром в поле — трава сухая, аж звенит, ни росинки, ни даже духа влажного ветра над ним...

Народ озлобился: мужья ни за что лупили жен, старики обижали детей и невесток, били и ребят, игравших на улице в пыли в казанки и свайку. Все друг друга попрекали куском хлеба и проклинали: «О, нет на вас пропасти!» И «пропасть» явилась, да такая, что всем в ней пропасть. Эта часть повествования передана Лесковым нарочито просто, даже буднично, но мистический подтекст очевиден: однажды ночью в деревню заявился черт. Пришел «откуда-то» «незнамый человек» и, уверив темных и напуганных людей что «в этой беде попы не помогут», научил их сатанинскому ритуалу: «Надо выйти в поле с зажженной свечой, сделанной из сала опившегося человека, схороненного на распутье дорог, без креста и без пастыря». И тут же выдал огарок требуемой свечи. Прежде она была у него длинная, но он ее уже «пожег во многих местах», где было такое же бездождие, и везде там «дожди пролили». «Незнамому» собрали с мира яиц и шесть гривен денег, и вышли с ним ночью в поле, где он «читал Отчу» «и еще какую-то молитву». Какую — крестьяне не поняли, да и не могли понять, ведь это была не молитва вовсе. В те времена верные богослужебные тексты зачастую не знали даже служащие церковного причта, чего уж спрашивать с неграмотных мужиков. Услышали знакомые слова и решили: это «Отче наш». «Незнамый» к тому же «махал навкрест» зажженной свечой из человеческого сала — кощунствовал, после чего велел ждать тучу, но пригрозил: смотрите, не помешайте ей! И туча действительно появилась, но остановилась вдалеке и на поля не пошла. Селяне решили, что «помешал» ей шорник-пьяница Егор Кожиен — да и убили его. Трое самых уважаемых хозяев в деревне сознались, что по их вине сторел овин, где они «творили» новые свечи

«из человеческого сала», а на самом дне глубокого оврага в Долгом лесу под хворостом и сухой листвою прошлогоднего листопада нашли труп шорника: «Из Кожиенова тука все “нутреное сало” было уже “соскоблено”, и из него, по всем вероятиям, наделано достаточное количество свеч».

Колдовство не помогло: «явился глад костист и оскалом мерзок». В самом беспомощном положении оказались самые бесправные: «Злополучные крепостные люди были всех других несчастнее: они не только страдали без всякой помощи, но еще с связанными руками и с тряпицей во рту. Они даже не имели права отлучиться, и нередко их жалобы и стоны принимали за грубость, за которую наказывали. Лучшие исключения были там, где помещики скоро ужаснулись раскрывшегося перед ними деревенского положения и, побросав свои деревни, сбежали зимовать куда-нибудь в города и городишки, — “все равно куда, лишь бы избавиться от своих мужичонков” (то есть, чтобы не слышать их просьб о хлебе). Без господ крестьянам по крайней мере открывалась свобода брести куда глаза глядят и просить милостыню под чужими окнами. Впрочем, в некоторых больших экономиях “своим крестьянам” давали хлеба и картофеля в долг или со скидкой против цены, за которую отпускали “чужим людям”, но и это все было недостаточно, так как и по удешевленной цене покупать было не на что». Лесков ради того, чтобы открыть миру страдания «малых сих», воссоздает картины голода во всех его диких проявлениях: в «Юдоли» он беспощадно реалистичен, избегает столь излюбленной лексической цветистости, излишней образности. Пересказать «Юдоль» невозможно, там каждое слово, каждый факт имеют высокую историческую документальную ценность. Всем сетующим на сегодняшней «низкий уровень жизни», советую прочесть эту горестную рапсодию.

В письме Л. Н. Толстому от 20 июня 1891 года вынужденный из-за тяжелой болезни проживать в Шмецке Лесков снова касается близкой и острой для него темы: «Я теперь живу на Устье-Наровы, в тишине и одиночестве, и о том, что происходит на «широком свете», узнаю только по газетам. Из них я узнал, что к Вам ездил Суворин и что теперь во многих местах обозначается большой

неурожаем хлеба, угрожающий голодом. Тамбовское письмо Шелеметьевой взбудоражило дух мой до смятенья и слез, и я позволю себе беспокоить Вас просьбою написать мне, как Вы находите — нужно ли нам в это горе встывать и что именно пристойно нам делать? Может быть, я бы на что-нибудь и пригодился, но я изверился во все «благие начинания» общ<ественной> благотворительности и не знаю: не повредишь ли тем, что сунешься в дело, из которого как раз и выйдет безделье? А ничего не делать — тоже трудно». Осознавая свою бесполезность, Лесков в сердцах бросает: «Ивана Ильича бы, что ли, послали на “закатанные поля” помолобствовать или еще “покататься”, как это делают в Орловской губернии», то есть — любые средства хороши, лишь бы прекратить голод, пусть бы даже «катанием и валянием» по бесплодной земле блаженного юродивого...

Где голод — там болезни. От них не скроется ни бедный, ни богатый. Одна из самых страшных — холера. От нее умер дед Николая Лескова по матери Петр Сергеевич Алферьев, от холеры скончался и батюшка Лескова — Семен Дмитриевич. А. Н. вспоминал: «По словам моего отца, в канун смерти дед, как всегда, хандрил и вечером, по обыкновению, пошел побродить в одиночку, а вернувшись, передал жене своей большой карманный платок, полный набранных на прогулке грибов, прося зажарить ему их на ужин в сметанке». Поел грибков, заболел холерой и вскоре скончался в мучениях.

Много лет спустя Николай Семенович замыслил свою «книгу сына об отце» — роман «Незаметный след». Писатель собирался рассказать о судьбе юноши, «в которого его отцом заронены семена опасных исканий, неудовлетворенности, «фантазирова-тости», словом — будущего «человека без направления», не подчиняющегося слепо чужим доктринам. «В отце юноши взяты кое-какие черты Семена Дмитриевича, — считал А. Н. — Бытовое в очень многом совершенно несхоже с событиями, происходившими в жизни отца Николая Семеновича, особенно в отношении его женитьбы. Но кое-что, по воле автора романа, сближается, а местами творчески и призрачивается им почти из действительности. Такие, взятые из собственных воспоминаний, частности биографически ценны. Не воспользоваться ими было бы

ошибкой». В «Незаметном следе» роковые грибы² раздобыл некий дьякон Флавиан (личность апокрифическая, по мнению А. Н.), угостил отца героя произведения, а к ночи тому стало худо. В канун своей кончины он, впав в мрачное отупление, поручает дьякону «устроить будущее» своих детей, остающихся сиротами:

«— И... отдай их куда знаешь... в портные, в кузнецы... в сапожники...

— Ну вот еще, что заговорил... Для чего это «в сапожники»? Чтобы каждому к ногам сгибаться да мерки снимать...

— Все равно... нельзя не согнуться...

— Ты покушай и ляг, и не думай о том, что было. Все пойдет по-новому.

— Знаешь, в каком случае возможно, чтобы что-нибудь пошло наново?.. Это возможно тогда, если... меня не будет более на свете.

— Вот тебе и раз!

— Поверь мне, поверь: я все испортил... такой был характер. Все бегали и суетились, отца то терли, то поднимали на кресло, то опять клали на диван. Он говорил только одно слово:

— Пожалуста, пожалуста!

Когда его поднимали, он просил: «пожалуста»... Его клали — он опять повторял то же «пожалуста».

Лицо отца было страшно и точно все покрыто прилипшею к нему черною вуалью. Отец стонет и все повторяет: «Пожалуста, пожалуста!» — и через час эти крики затихли: его уже не было. Он умер утром на заре. Это была холера, первую жертвой которой лег мой отец».

² «Грибки», кстати, пригодились Лескову на творческой кухне не раз: леди Макбет Мценского уезда угостила за ужином грибочками со страшным белым порошком ненавистного свекра; в Киеве «распочалась холера» с того, что старик Долинский «покушал дынь-дубовок» — в таком варианте предстали в «Обойденных» легендарные «грибки»; угостился на ночь грибочками в сметане и знаменитый Оноприй Опанасович Перегуд в «Заячем ремизе».

Как лечить эпидемиологические заболевания — холеру или чуму, — в то время не знали; по всенародному убеждению, они приходили и уходили, когда сами того пожелают. Или исчезали «по жертве праведника» — такой, которую свершил святой души человек в повести Лескова: «Голован заметил косаря и, встав на ноги, в одной рубахе, громко крикнул ему:

— Малец, дай скорей косу!

Малец принес косу, а Голован говорит ему:

— Поди мне большой лопух сорви, — и как парень от него отвернулся, он снял косу с косья, присел опять на корточки, оттянул одною рукою икру у ноги, да в один мах всю ее и отрезал прочь. Отрезанный шмат мяса величиною в деревенскую лепешку швырнул в Орлик, а сам зажал рану обеими руками и повалился.

Увидев это, Панька про все позабыл, выскочил и стал звать косаря. Парни взяли Голована и перетащили к нему в избу, а он здесь пришел в себя, велел достать из коробки два полотенца и скрутить ему порез как можно крепче. Они стянули его изо всей силы, так что кровь перестала. Тогда Голован велел им поставить около него ведерце с водою и ковшик, а самим идти к своим делам и никому про то, что было, не сказывать. Они же пошли и, трясясь от ужаста, всем рассказали. А услышавшие про это сразу догадались, что Голован это сделал неспроста, а что он таким образом, избоясь за людей, бросил язве шмат своего тела на тот конец, чтобы он прошел жертвицей по всем русским рекам из малого Орлика в Оку, из Оки в Волгу, по всей Руси великой до широкого Каспия, и тем Голован за всех отстрадал»...

Так, страдая и радуясь, день за днем отбывал Панин Хутор свою метафизическую «повинность на земле» — сам в себе, сам по себе. Изредка просачивались в исконно-кондовый панинский жизневорот «люди извне»: то такая же бедная мелкота — заезжие офени с коробами, полными всякой всячины, бродячие шарманщики с полудохлой обезьянкой или жирным сурком в решетчатой коробке, профессиональные нищие, запыленные паломники-богомольцы; то ушлые хваткари — перекупщики, сборщики податей, шулера-трилистники и прочие подобные им.

Наезжали и «благополучные» — всегда полны руки подарков — родственники-англичане Шкотты «с голыми коленками»

или не менее щедрая на дары, сласти и ласки обожаемая бабушка Александра. Изредка добиралась на заемном тарантасе до любимых внучатых племянников отцова тетушка, добрейшая Пелагея Дмитриевна. Но случались и пришельцы странные, будто с иной планеты, из покамест неведомого мальчику огромного мира. Среди архивных набросков Николая Семеновича, многие из которых не имели ни начала, ни конца, есть описание происшествия, оставившего глубокий след в памяти и в сердце Лескова-ребенка.

В тот день, как можно догадаться по дальнейшему тексту, Лесковы поджидали в гости младшую сестру Марьи Петровны Александру, с мужем, А. Я. Шкоттом. Николаша сгорал от нетерпения, в том же состоянии пребывал и младший брат его Алеша. Не в силах больше терпеть, дети решили перехватить гостей вблизи усадьбы и украдкой выбрались из дома. За первым же пригорком послышались движение и голоса. Решив, что это пошумливают подъезжающие Шкотты, мальчики «кинулись бегом на гору, к роднику» — с этой фразы, собственно, и начинается оригинальный литературный документ, принадлежащий перу Лескова. А далее произошло вот что:

«— Ну вот, — думали мы, — теперь-то мы их как раз и встретим... Может быть, они припоздали, может быть, сбились с дороги проселком, где так много маленьких свертков³... И тогда как мы распорядимся? Один из нас, конечно, поцелуется с тетею и вспрыгнет на козлы к ямщику, чтобы показать ему дорогу, а другой сию же секунду бросится назад к дому, чтобы скорее ставили самовар, потому что на дворе был ужасный мороз и англичане с голыми коленками должны были страшно прозябнуть. И что же вы думаете? — наши ожидания были не совсем напрасны: по мере того, как мы взбегали на горку, мы замечали в темной котловине родника какое-то движение.

Наши сельские женщины не ходили на родник ночью, потому что все они имели суеверный страх к этому месту, — и притом мы видели, что в котловине не одна или две бабы с водоносами,

³ Поворотов — местное выражение.

а что-то больше. Нам казалось, что мы видим лошадей и людей и даже слышим какой-то говор.

Признаться, мы и сами трусили, но опасение прослыть за трусов перед англичанами взяло верх над нашими оробевшими сердцами: мы схватились за руки и, поняв друг друга в молчаливом пожатии, сделали опасный шаг вперед. До слуха нашего долетали звуки тихо и робко говоривших человеческих голосов, но слова, которые мы слышали, были нам незнакомы. Родители наши не были настолько богаты, чтобы учить нас в детстве многим языкам, но у нас была своя врожденная русская сметка, и мы без всякой учености поняли, что это говорят по-английски и что люди эти не кто иные, как наши гости, которые, вероятно, не поостереглись раската и попали в котловину.

Тогда я и брат смело бросились вперед и остановились: вместо бодрых и сильных англичан, готовых каждого встретить боксом, мы увидели трех человек, которые были обернуты в жалкие лохмотья и тихо бродили вокруг дрянных санишек, на которых лежал какой-то хлам, прикрытый запорошенной снегом рогожей, и оттуда раздавался жалобный писк. Лошадь, похожая на сухой остов, обтянутый конской кожей, стояла невыпряженною в хомуте с мочальной шлеею и, дрожа от стужи, валяла в зубах клок брошенной перед нею соломы...

Мы знали, что в деревнях скот нередко страдает и падает от бескормицы, а люди погибают от стужи, и враз позабыли о своих кузенах, а бросились к этим нищим. Один из них был высокий седой старик в изорванной бараньей шапке, другой помоложе и в картузе, а третья — женщина.

— Что вы тут делаете? — закричали мы.

Они нам не отвечали и продолжали по-прежнему молча ходить вокруг саней, с которых не переставал раздаваться неумолчный жалобный писк.

— Зачем вы здесь стоите? Здесь холодно.

Высокий старик остановился, поглядел на нас, двух маленьких мальчиков, и отвечал по-русски:

— Здесь очень холодно — это правда. Мы очень озябли, мальчик.

— Чего же вы здесь ждете?

— Мы ждем!.. Мы ждем милости Божией.

— Но зачем вы не спускаетесь в деревню? Она близко, сейчас за рекой... вон, слышите, лают собаки... Вас там согреют.

— Нас!.. Нет — нас не согреют.

Я почувствовал особое усиление звука в слове «нас» и понял, что это какие-нибудь особенно дурные люди, которые сами знают, что они не стоят ничьего внимания. Я знал, что есть люди, осужденные на ссылку, на каторгу, знал и то, что эти люди оттуда иногда бегают и скрываются... Это такие и есть! — подумал я, но как мне было их очень жалко, то я сказал:

— Мне вас очень жалко. Затяните скорее хомут вашей лошади и ведите ее за нами... Мы вас проведем к риге — там вчера сушили снопы, и в печке должно быть еще немножко тепло — я вас спрячу и... завтра у нас праздник, и мне, наверно, подарят новый серебряный рубль... Я его принесу вам туда в ригу...

Старик вынул из-за пазухи руку и, положив ее мне на голову, сказал:

— Спасибо тебе, добрый мальчик, но мы с тобой не пойдём.

— Отчего? Я вас проведу так, что вас никто не заметит, а там у печи гораздо теплее.

— Да... там теплее... но ты еще молодое дитя и не понимаешь. Нас там могут найти и скажут, что мы спрятались, чтобы сделать дурное дело. Ты, верно, не знаешь, кто мы?

— Нет, я знаю, вы каторжные, но я хочу, чтобы вам было тепло.

Старик покачал головою и, вздохнув, молвил:

— Ты ошибся, дитя, мы не каторжные, но мы хуже.

Что может быть хуже каторжных, я еще не знал и сказал:

— Ничего, скажите мне: кто вы, мне все равно вас будет жалко.

— Мы жиды!

При этом и другие два человека остановились и, вздохнув тихо, повторили:

— Да, мы жиды.

Я и брат подались назад — я собственно теперь понял писк, который слышался из-под запорошенных снегом саней, и понял страшную угрожавшую мне опасность: там, конечно, должны быть дети, которых где-нибудь увезли эти люди и теперь с ними скрываются. Оттого они и предпочитают лучше застыть

на морозе, чем просить ночлега. Разумеется, они точно так же схватят сейчас и меня и увезут от дома, от родных и от прекрасного завтрашнего праздника...

Ужас поднял дыбом волосы на моей голове, и я бросился бежать домой с страшным криком, а прибежав, упал и долго ничего не мог рассказать встревоженным моим страхом родителям. Но наконец, когда меня успокоили, я кое-как проговорил: «Там... у родника... жиды... везут детей... Меня хотели взять...»

— Что за вздор такой! — ответил отец и приказал подать себе шубку и палку, а также взял с собою меня и лакея Ивана.

Мы пришли к роднику, где жиды оставались в том же самом положении, а из саней слышался тот же самый писк, только он стал теперь еще слабее и жалостнее. Отец стал говорить с евреями и узнал от...»⁴

На этом месте рукопись обрывается.

Продолжение следует.

⁴ЦГЛА.